МЕРЦАНИЕ КРАСНЫХ ФОНАРЕЙ



18+

МАРК КОРОЛЁВ

Марк Королёв

Мерцание красных фонарей

«Автор»
2026

Королёв М.

Мерцание красных фонарей / М. Королёв — «Автор», 2026

1988 год. Серый промышленный город на излёте эпохи — из тех, куда солнце заглядывает по случайности и на пару минут. Капитан милиции Михаил Ерёмин хоронит жену на рассвете, а через час стоит у заброшенного зернохранилища и смотрит на то, что висит на тросах между двумя столбами.Город назовёт убийцу человеком-тенью и почти успокоится — страшное, у которого есть имя, вынести легче. Но Ерёмин видит то, чего не видит город. Жертвы выбраны не наугад. Все они однажды прошли через его собственный отдел и были отпущены: за недоказанностью, за передумавшей свидетельницей, за отказным материалом. Кто-то методично дочищает то, что закон бросил на середине.Психологический триллер о цене правоты и о тонкой двери между совестью и справедливостью — которую кто-то умелый медленно, по линеечке, приоткрывает. Потому что главный вопрос этой истории звучит не «кто убийца», а «почему мне не жаль».

© Королёв М., 2026
© Автор, 2026

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. МОНЕТА ПОД ЯЗЫКОМ 5
Глава 1 6
Глава 2 8
Наташа 11
Глава 3 12
Отдел 14
Глава 4 15
Первая ночь 17
Конец ознакомительного фрагмента. 18

Марк Королёв
Мерцание красных фонарей

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. МОНЕТА ПОД ЯЗЫКОМ

Предисловие

Безмолвный алый ручеёк собирался каплями в канальцах между камнями брусчатки и тёк вниз, по наклону улицы, набирая ход. Мокрая от ночного дождя дорога, прихваченная слабым инеем раннего морозного утра, ускоряла его путь, не создавая препятствий. В окнах не горел свет. В воздухе висел едва различимый запах гнили — ветер приносил его со стороны свалки, — и перебивал его лишь запах сырой плесени, которой дома пропитались за несколько десятков лет. Даже летом этот район оставался серым, холодным и мрачным: солнце здесь нечастый гость, а если и заглядывает, то по случайности и на пару минут.

Человек в кожаных лакированных туфлях, идеально отглаженных накрахмаленных брюках и длиннополом шерстяном пальто, с восьмиклинкой на голове, размеренным тихим шагом шёл по мощёной улице промышленного района, оставляя за собой багровый след: серповидный предмет казался продолжением его левой руки. С ржавых зазубрин свисали тонкие лоскуты плоти, едва колеблемые ветром. Кто он, чьи это лоскуты и что он забыл на окраине города перед самым рассветом — неясно. Ясно одно: этой ночью произошло то, что на ближайшие тридцать лет сделает город героем новостных лент, поводом для легенд и страшилок, а его старый промышленный район — самым жутким местом страны.

Он шёл не спеша, будто прогуливался. Так ходят люди, которым некуда торопиться, потому что всё, что нужно было сделать этой ночью, уже сделано, сделано хорошо, и осталось только дойти до тёмного угла и дать городу проснуться в новый мир — мир, где он, город, ещё не знает, что стал другим. Иногда человек приостанавливался, поднимал голову к погасшим окнам и слушал: не заскрипит ли форточка, не всхлипнет ли во сне ребёнок, не залает ли собака. Собаки в этом квартале молчали. Собаки его чуяли и молчали.

Высокая угловатая фигура минула перекрёсток за перекрёстком, ни разу не оглянувшись, будто заранее знала, что оглядываться незачем — свидетелей нет, а те, что есть, будут молчать до самой смерти. У последнего фонаря, ещё горевшего жёлтым, человек остановился, достал из кармана белоснежный носовой платок и неторопливо, палец за пальцем, отёр рукоять серпа. Платок он не бросил — сложил вчетверо и убрал обратно. Аккуратность — не привычка. Аккуратность — это уважение к работе.

Потом он дошёл до очередного неосвещённого участка, где не горел ни один фонарь, — и кромешная темнота поглотила его, не выпустив обратно на свет. А багровый ручеёк за его спиной всё тёк и тёк по наклону улицы, собираясь в лужицу у решётки ливнёвки, и первая утренняя птица, ничего не понимая, спустилась к ней попить.

А пока город спал и в его подворотнях крысы доедали лицо и пальцы жертвы человека в пальто, на другом конце города Михаил Ерёмин хоронил жену Наталью, погибшую под колёсами локомотива.

Глава 1

Бывалый милиционер, прошедший и повидавший столько, сколько другому не выдержать, а ныне — скорбящий муж и отец двух девочек, Лизы и Маши, стоял у свежей ямы и смотрел, как в неё опускают то, что ещё три дня назад было тёплым, живым, пахнущим её духами и её волосами.

На похоронах не было ни души. Час он выбрал сам, самый ранний, чтобы никого не видеть и ни с кем не говорить: девочек пришлось оставить дома одних, родителей у Наташи не было, а немногих её друзей давно забрала жизнь. Закурив и угостив оставшейся парой сигарет копателей, Михаил глубоко затянулся, на выдохе на мгновение закрыл глаза, шепнул «прощай» — и, бросив горсть земли, дал отмашку закапывать.

Его белое лицо, подсвеченное разрастающейся на горизонте зарёй, походило на гипсовую статую из тех, что стоят в галереях и музеях или украшают колонны театров и библиотек, — бледное, без единой эмоции. Человек, не знавший Мишу, подумал бы, что душа покинула это бренное тело в ту самую минуту, когда ему сообщили, что его любимой женщины больше нет. И если бы нашёлся хоть один человек, подумавший так, он оказался бы прав с вероятностью в тысячу процентов.

Он думал о странном. Не о том, как жить дальше, не о девочках, не о пустой половине кровати, — обо всём этом он думать пока не мог, как не может человек с оторванной рукой сразу думать о том, как будет застёгивать пуговицы. Он думал о ерунде: о том, что Наташа терпеть не могла, когда он курил натощак, и всякий раз молча ставила перед ним тарелку — ешь сначала, потом трави себя. Тарелки больше не будет. Никто больше в этом мире не поставит перед ним тарелку просто потому, что тревожится, как бы он не помер раньше срока. От этой мысли — не от горя, а именно от этой мелкой, бытовой мысли про тарелку — у него на секунду свело челюсть, и он сильнее закусил фильтр.

Могильщики работали быстро, привычно, без слов. Земля падала на крышку с тем глухим, ни на что не похожим звуком, который слышавший однажды не забудет никогда: не стук, а именно падение, окончательное, без эха. Михаил считал комья. Привычка старая, ещё с первых выездов: когда невыносимо — считай. Считаешь — значит, держишься. На семнадцатом коме заря добралась до кладбищенской ограды, и кованые прутья бросили на снег длинные синие тени, похожие на решётку.

Пустой, бесцельный взгляд в сонный, укрытый туманом город взбодрил не рассвет и не холод. У ворот кладбища коротко просигналили: рядом встал милицейский УАЗ, из которого выскочил молоденький сержант. С полминуты он объяснял что-то, глотая слова; Михаил кивал, а дослушав, сказал только: «Понял. Поезжай, я следом». Пожевав краешек сигаретного фильтра, вдовец сплюнул горечь табака, затушил окурок о землю и двинулся к главным воротам.

Там его ждала старенькая, местами ржавая тёмно-зелёная «бэха» семьдесят девятого года. Салон её давно обветшал, пропах сигаретами, кожей милицейской кобуры и порохом, а на зеркале заднего вида висел деревянный нательный крестик — тот самый, что после холодной воды серебряной купели надел на хозяина машины длиннобородый батюшка, наказав: оберегать. Наташа этот крестик не любила — не из-за веры или неверия, а потому что он раскачивался на ходу и стучал по стеклу, и она всегда придерживала его пальцем на поворотах. Теперь придерживать было некому. Михаил сел за руль, посмотрел на крестик, тронул его пальцем — и убрал руку.

Бетонная кольцевая в четыре утра была пуста, спокойна и тиха, и только зелёная колымага разрезала её покой своим грохотом и гулом. В домах ещё не горел свет, фонари вдоль дороги гасли один за другим, и на смену им вступало в свои законные права солнце, тёплыми

лучами раздирая пелену утреннего тумана. У знака городской черты автомобиль свернул на просёлочную дорогу — в сторону старого, давным-давно заброшенного пожарного пруда, который за последние годы обмелел настолько, что походил скорее на лужу в глубине ямы, чем на водоём.

Это утро могло бы сойти за обычное утро в работе правоохранительных органов — такие случаются чуть ли не каждый день. Пьяная поножовщина, замёрзший бродяга, обгоревший труп в сарае — рутина, от которой давно затвердела душа. Но всё изменилось, когда зелёный БМВ затормозил на песчаной площадке у пруда и фары выхватили из полумрака картину, заставившую ужаснуться даже самого опытного офицера. Ледяной ужас этой картины ломал всякое представление о пределах человеческой фантазии — и о том, что человек способен сотворить с человеком.

Утренний тихий холодок, едва трогавший кроны деревьев и укутанную за ночь инеем траву, раскачивал верёвки, натянутые между двумя столбами. Когда-то эти столбы держали входные ворота зернохранилища. Теперь они держали картину, рождённую извращённым умом художника.

Михаил не сразу понял, на что смотрит. Мозг, привыкший за двадцать лет раскладывать любое зрелище на понятные части — вот тело, вот кровь, вот орудие, — здесь дал сбой, отказался, забуксовал, как машина в глине. Слишком много было в этой картине лишнего, продуманного, сделанного не для того, чтобы убить, а для того, чтобы показать. Он выключил фары, будто темнота могла что-то отменить, посидел секунду в наступившей черноте, слушая, как тикает остывающий мотор, и снова включил. Картина никуда не делась. Она ждала его — терпеливо, как ждёт зрителя занавес.

Около столбов уже стояло несколько милицейских УАЗов, карета скорой помощи и пожарный расчёт — последних вызвали только потому, что лишь у них в городе нашлась высотная лестница, которой можно дотянуться до места крепления троса. Прибывший наряд нервно курил у машин, стараясь не смотреть в сторону освещённого фарами предмета их визита. Один совсем молодой, лет девятнадцати, стоял чуть в стороне, согнувшись, упершись ладонями в колени, и его выворачивало в жухлую траву; никто над ним не смеялся, никто не подходил. Каждый понимал: сегодня повезло тому, кого просто вырвало.

Их, как и скорую, вызвал старый полуслепой сторож, всю ночь проспавший в сторожке на территории соседней лесопилки. Михаил вышел из машины, застегнул пальто на все пуговицы — не от холода, а чтобы руки заняли себя привычным, — и пошёл к людям, ступая по хрусткому инею, и каждый его шаг звучал в утренней тишине неприлично громко.

Глава 2

Когда зазвонил будильник, дед натянул штаны, заправил их в кирзовые сапоги, накинул фуфайку без рукавов и, прихватив у входа ружьё, отправился на утренний обход. Ружьё он таскал больше для порядка, чем для дела: патронов к нему не держал уже лет пять, а сам ствол помнил ещё финскую. Но с ружьём было спокойнее, а спокойствие в его возрасте и на его работе — единственная роскошь, какую он мог себе позволить.

Он уже делал последний поворот к сторожке, когда солнце из-за горизонта стало медленно подглядывать за ним, освещая тонким хитрым прищуром окрестности и избавляя мир от тёмных углов и огромных страшных теней. Тогда-то дед и заметил: на противоположной стороне дороги что-то появилось — большое, высокое, странной формы. Сначала подумалось: ночью, пока он спал, прошёл сильный ветер и снова повалил деревья, обломав ветки. Но чем ближе он подходил, тем яснее понимал — не деревья тревожили его любопытство, и далеко не ветер стал причиной его тревоги.

Он подошёл ещё ближе, шагов на двадцать, — и остановился, будто налетел на невидимую стену. Ноги отказались нести дальше. То, что висело на верёвках между столбами, было когда-то человеком. Дед смотрел на это долго, слишком долго, и в его выцветших глазах медленно, как проявляется фотография в ванночке с реактивом, проступало понимание. А потом понимание сменилось ужасом, а ужас — той старческой, детской беспомощностью, от которой хочется звать маму, хотя маме твоей было бы сейчас сто двадцать лет.

А теперь он сидел в своей сторожке, сжимал в руках небольшой деревянный крест, трясся от страха и бормотал под нос «Отче наш», крепко-крепко зажмуриваясь, словно так можно было забыть увиденное. Но забыть не получалось. Стоило закрыть глаза — и оно вставало перед ним снова, ещё чётче, чем наяву, будто выжженное изнутри век.

— Давно приехали? — без вступления спросил Михаил, подойдя к машинам.

— Пятнадцать минут назад, товарищ капитан, — сонно ответил младший лейтенант. — Сначала ждали пожарных, потом вас.

— Кто вызвал наряд?

— Да дед тут один, сторож местный. Лесопилку охраняет, через дорогу. Он обход делал и увидел. Говорит, думал сначала — показалось: возраст, зрение не то. Подошёл ближе... Теперь вон сидит у себя, богу молится. — Младший лейтенант помолчал и добавил тише, будто стыдясь: — Я к нему заходил, товарищ капитан. Воды спросить. Он на меня посмотрел — и не узнал, что живой человек зашёл. Смотрит сквозь. Плохо ему.

— Вызывай криминалистов, пусть всё тут обследуют. Со сторожем я сам поговорю, а ты никого сюда не пускай до приезда спецов, — приказным тоном откомандовал Михаил.

— Так точно.

Прежде чем идти к деду, Михаил заставил себя подойти к столбам. Заставил — потому что тело сопротивлялось, разворачивало прочь, как разворачивает магнит одноимённый полюс. Он подошёл вплотную, поднял голову и смотрел ровно столько, сколько было нужно, чтобы запомнить, — ни секундой дольше. Профессия научила его этому давно: не отворачиваться. Отвернёшься — упустишь ту единственную деталь, которая потом, через месяц бессонных ночей, окажется ключом. Он смотрел и складывал в память: узлы, высота, положение, следы на земле, которых почти не было, — почти, будто тот, кто это сделал, подмёл за собой. Смотрел и чувствовал, как под рёбрами, в том месте, где ещё вчера было горе по Наташе, освобождается место для чего-то нового, холодного и очень внимательного. Горе никуда не делось. Оно просто подвинулось, уступая.

Потом он отвернулся, закурил, глубоко затянулся и пошёл к сторожке, унося картину с собой — теперь навсегда.

Капитан обошёл сторожку кругом — убедиться, что окна действительно не выходят на дорогу, — и тихо-тихо постучал в дверь.

— Есть кто? Я войду? — голосом стараясь приободрить запуганного до смерти деда.

— Д-д-да, в-в-входи, — глотая слоги, ответил хрипловатый старый голос.

Внутри стало ясно: сторож тут один и, скорее всего, живёт. Всё было, как бывает дома у пожилых людей: поверх заправленной постели накинут плед, окна занавешены белоснежным тюлем, в углу — табурет с железными кружками и кипятильником, на газетке рядом сахар кубиками. Над кроватью — полки с книгами, лампадка, а в углу старая закоптелая икона смотрела выразительным, проникновенным, тёплым взглядом через всю комнату на нового гостя. Пахло воском, старой бумагой, немного псиной и тем особым запахом одинокого мужского жилья, который ни с чем не спутаешь.

Осмотревшись, капитан взял один из табуретов у стола, переложил с него кипу газет и, присев на краешек, спросил:

— Как тебя звать, отец? — со снисхождением, понимая, что разговор будет тяжёлый.

— М-м-меня-то? Ю-юрий Ф-филипыч я, — выдавил из себя дед.

— А я Михаил. Будем знакомы. Я закурю, ты не против? Хочешь — сам закуривай, угощаю. — И протянул пачку «Беломорканала».

— К-кури, т-только окно от-ткрой, — ответил дед и подал гостю пустую жестяную банку из-под шпрот.

Капитан распахнул окно, впустив едва подогретый восходящим солнцем воздух, поджёг папиросу и сделал первую затяжку. У её кончика вспыхнул яркий огонёк, и комната наполнилась густым тяжёлым дымом. Дым потянулся в открытое окно тонкой ниткой, и вслед за ним, будто торопясь на волю, из комнаты выходила часть того страха, что скопился тут за ночь.

— Я не буду мучить тебя расспросами, что ты там видел и прочее. Сам всё видел и понимаю тебя. Мне важно, что было ночью: слышал ли ты что-нибудь, видел ли. Не торопись, подумай. Хочешь, чаю заварю?

— Д-да нет, к-кусок в г-горло не лезет, — понемногу успокаиваясь, ответил сторож. — А что до в-вопроса твоего, так я ж ночью с-сплю. С-собак выпускаю и ложусь.

— Собак? Я когда заходил — ни собак не слышал, ни следов не видел, — заинтересовался капитан.

— Т-так они в с-сарае, п-привязаны. Я их утром отправил об-братно. Днём-то машины приезжают, р-работа начинается — чего им зря под ногами мешаться?

— Разумно. Ладно, собак потом покажешь. Ты скажи, как проходит твоя ночь и что ты увидел, когда нам позвонил?

— Да я ж говорю: сплю я ночью. А утром делал об-бход, гляжу — в-висит... Ну я и бежать, звонить, — тараторил дед, ещё сильнее сжимая крест. — Я д-две войны прошёл, п-понимаешь? Финскую и Отечественную от звонка до звонка. И под Ржевом лежал в болоте трое суток рядом с мёртвыми, и в сорок пятом такое видал в лагерях, что молодым не пересказать. А т-таких у-ужасов не видал. За что ж его они так, а? Война — она понятная. Там враг, там свой. А это... это ж не война. Это кто-то с холодной головой делал, не спеша. Я по узлам вижу — не спеша. — Он поднял на Михаила слезящиеся глаза. — Я, командир, узлы всю жизнь вяжу. И скажу тебе: кто эти узлы вязал, у того рука не дрожала. Ни капельки.

Михаил кивнул. Это он и сам уже понял — по земле, по которой будто прошлись веником, по высоте, рассчитанной так, чтобы видно было издалека. Но слышать это от чужого человека, от старика, две войны прошедшего и всё равно раздавленного, было почему-то важно. Значит, не показалось. Значит, он не сходит с ума от бессонной ночи и свежей могилы. Значит, в его город действительно пришло что-то, чего тут раньше не было.

— Не знаю, отец. Не знаю. Но выясню, обязательно выясню. Ну да ладно, спасибо за помощь. Вспомнишь что — звони. Береги себя. — Он встал, отодвинул табурет на место и тихонько вышел на улицу.

— А с-собак-то посмотреть ж хотел? — крикнул вслед дед.

— Потом, Юрий Филиппович, потом. Не до них сейчас. Спасибо.

Наташа

Он не хотел вспоминать её живой — живой было больнее, чем мёртвой. Мёртвую можно было держать на расстоянии протокола: опознание, опись вещей, «стояла спиной». А живая приходила без спроса, среди бела дня, в самый неподходящий час, — и приходила не вся, а деталями, мелочами, от которых перехватывало горло вернее, чем от любого горя целиком.

Апрель прошлого года. Кухня, та же самая, тот же жёлтый абажур. Наташа сидит на подоконнике, поджав ноги, — привычка, которую он двадцать лет ругал и двадцать лет любил, — и читает вслух что-то из газеты, не ему даже, а так, в воздух, себе. У неё была эта черта: думать вслух, вертеть в руках чужую мысль, как вертят найденную на дороге вещицу. «Мишенька, — говорит она, — а вот пишут: раскрываемость девяносто восемь процентов. Это ж как так? Это ж значит, они всё знают наперёд. А ты вон третью неделю с папкой сидишь по своему складу и не знаешь. Врут ведь, да?» — «Врут», — говорит он от плиты, не оборачиваясь. «А зачем врут?» — «Чтоб спали спокойно». — «А если не спится?» — И смеётся, и он смеётся, и это самый обычный вечер из тех тысяч вечеров, которых больше не будет и которые тогда казались бесконечным, неисчерпаемым запасом.

Она была умнее его — он знал это всегда и не стыдился. Не начитаннее, не хитрее — умнее той глубинной, неудобной умностью, что видит вопрос там, где все видят ответ. Он раскрывал дела руками, ногами, чутьём, двадцатью годами насмотренности. Она раскрыла бы их головой, если б её пустили, — да кто ж в этом городе пустит бабу в розыск. Она работала библиотекарем в заводском клубе, выдавала слесарям детективы и подшивки «Науки и жизни», и вечерами пересказывала ему вычитанное так, что он, старый опер, слушал, как мальчишка. Про Ломброзо. Про то, что почерк убийцы — как почерк руки. Про лондонского Джека, которого так и не поймали. «Представляешь, Миш, — говорила она, и глаза у неё делались круглые, детские, — сто лет прошло, а не знают, кто. Целый город, полиция, весь мир — и не знают. Как будто он не человек был, а... тень какая-то. Пришёл, сделал и растворился».

Тень. Она сказала это слово за год до того, как оно поползёт по городу само, без хозяина. Он вспомнил это только теперь и похолодел: она уже тогда стояла на краю того же обрыва, к которому его подвели силой. Только её никто не подводил. Она сама подошла — из любопытства, из ума, из той неудобной привычки видеть вопрос. И кто-то заметил, как она стоит на краю и смотрит вниз. И подошёл сзади.

В тот апрельский вечер она спрыгнула с подоконника, подошла к нему, обняла со спины, прижалась щекой к лопатке и сказала в спину, тихо, уже без смеха: «Ты не кури натощак, слышишь? Обещай. Я тебя одного не оставлю, вредный, а ты меня. Уговор». Он пообещал. Он не сдержал — ни того, ни, как оказалось, главного: не уберёг. Она ушла первой, и ушла не сама, и это он тоже теперь знал, стоя посреди своей осиротевшей кухни с сигаретой, зажжённой натощак, назло, в память, в наказание.

Он затушил её о край раковины, не докурив. Уговор есть уговор. Даже с мёртвой. Особенно с мёртвой.

Глава 3

В другом конце города, в это же самое утро, в квартире на третьем этаже дома по Заводской происходило то, чему предстояло стать вторым актом.

Сигаретный дым, вьющийся от тлеющей в пепельнице сигареты и стремительно летящий вверх, к пыльной люстре, делил помещение на две части. В одной жужжал телевизор с выкрученным до нуля звуком — по экрану бежала утренняя таблица настройки, цветные полосы, — и лежали пустые бутылки из-под дешёвого пойла. В другой, в багровой луже запёкшейся крови вперемешку с древесными опилками и осколками, лежала растерзанная барышня — с широко открытым ртом и слегка навыкате от ужаса глазами. Едва различимое скуление хозяйкиного пса из морозильной камеры холодильника говорило лишь о том, что творец всего этого действа не гнушается ничем.

Творец не спешил. Он никогда не спешил. Спешка — признак страха, а страха он не знал давно, так давно, что уже и не помнил его вкуса. Он стоял посреди комнаты, чуть склонив голову набок, и рассматривал сделанное, как рассматривает мастер готовую работу перед тем, как поставить подпись, — придирчиво, отстранённо, без гордости и без отвращения. Что-то ему не нравилось. Он не мог сразу понять что, а он привык доверять этому чувству: если что-то не нравится, значит, есть ошибка, а ошибок он не оставлял.

Едва прикрытая форточка билась о раму от сквозняка на кухне. Кроме этого стука, в квартире не было ни единого звука — ни единого знакомого звука. Продолговатая плотная тень скользила по стенам, осматривая следы своего очередного деяния, и то и дело облизывала острым, как бритва, языком потрескавшиеся на морозном ветру губы. То ли от удовольствия, то ли от педантичности фигура снова и снова наклонялась к полу, будто стараясь запомнить содеянное в мельчайших подробностях.

Наконец он понял, что было не так. Рука лежала неправильно — не так, как он оставил, а чуть иначе, будто женщина, уже мёртвая, всё-таки шевельнулась и подвинула её на сантиметр. Такого быть не могло. Мёртвые не двигаются. Но он был человеком принципа, и потому подошёл, присел на корточки, аккуратно, двумя пальцами в кожаной перчатке, вернул руку в прежнее положение — то самое, единственно правильное, — и, довольный, поднялся. Теперь всё было как надо. Теперь работа была закончена.

Запах старой советской мебели мешался с запахом пыли, а недавно распустившаяся бегония придавала всему этому нотку сладости. На подоконнике, в горшке, эта бегония цвела нелепо, весело, ярко-розовым, — и он посмотрел на неё почти с нежностью. Живое среди мёртвого. Он любил такие детали. Они напоминали, что мир не делится на чёрное и белое, что и в самой страшной комнате может цвести цветок, и что цветок этот не виноват и потому будет жить.

Пока лампа в люстре потрескивала и мигала, высокий широкоплечий мужчина в двубортном пальто и кепке осторожно перешагивал через осколки фарфора, стеклянной столешницы и куски деревянной табуретки, двигаясь в сторону ванной. Смыв куски плоти с орудия линчевания и ополоснув кожаные перчатки от скверны, тёмный силуэт скользнул на кухню, открыл крышку духовки и пустил газ на все конфорки. В темноте шипение газа, расползавшегося по комнате, походило на дыхание большого зверя, а может, и рептилии, вышедшей на поиск жертвы. И можно было не сомневаться: невидимый хищник её найдёт. Нужно лишь дождаться щелчка — того самого, что даст холодильник или сам собой замкнёт реле в старой люстре, — и тогда третий этаж дома по Заводской превратится в огненный столб, и огонь съест всё, что могло бы рассказать лишнее.

Пёс в морозилке снова заскулил — тонко, безнадёжно. Мужчина на секунду остановился у холодильника, положил ладонь на белую крышку, будто прислушиваясь. Пса он трогать не

стал. У него были свои правила, и одно из них гласило: животное не виновато. Виноват хозяин. Хозяйка этой квартиры была очень, очень виновата, и с ней он поступил по совести. А пёс пусть живёт — если повезёт, если успеют, если сквозь копоть и жар кто-нибудь услышит это скуление. Это уже не его дело. Он своё сделал.

Выйдя на улицу, мужчина сел в припаркованное ожидавшее его такси, что-то шепнул водителю, и машина двинулась по мокрой брусчатке в сторону восходящего над городом солнца. В салоне пахло бензином, старой кожей и — едва-едва, на самом дне — чем-то химическим, аптечным. Радио между станциями поймало далёкий бархатный голос, и голос запел про море, про синюю вечность. Мужчина откинулся на сиденье, прикрыл глаза и слушал, и на его лице, освещённом косыми лучами восхода, было выражение почти блаженное — так отдыхает человек после долгого честного труда.

Этот день оставит за собой не просто очередную жертву, не просто очередную загадку, не просто очередной ужас. Этот день станет днём, когда человек-тень впервые оставил послание.

Отдел

Городской отдел милиции размещался в двухэтажном купеческом особняке с облупленной лепниной и вечно текущей крышей, и всё в нём было под стать восемьдесят восьмому году — усталое, медное, доживающее, но ещё держащееся из последних сил на честном слове и на людях, которые почему-то не разбежались. В коридорах пахло хлоркой, мокрыми шинелями и пирожками из буфета тёти Раи. По углам стояли фикусы в кадках, обёрнутых красной бумагой к прошлому Октябрю да так и не разобранных. На стене дежурки висел портрет, а под ним — график дежурств, вырезки из «Щита и меча» и от руки написанное объявление: «Товарищи! Не оставляйте табельное оружие в столе!»

Паша Гурьев пришёл сюда два года назад из криминалистического техникума — тихий, очкастый, с той дотошностью, что в мирной профессии сделала бы бухгалтера, а здесь делала хорошего эксперта. Он был из тех, кто на месте происшествия видит не ужас, а систему следов, и потому держался дольше многих, — но и он держался не всегда. По ночам ему теперь снилась собака в морозилке. Не тело хозяйки, не кровь — именно собака, её немигающие живые глаза во льду. Он никому не говорил. В отделе про такое не говорили. В отделе про такое пили — по-тихому, дома, в одиночку, — и приходили наутро с серыми лицами, и это считалось нормальным ходом вещей, частью ремесла, вроде мозолей.

Про капитана Ерёмина в отделе говорили с той смесью уважения и жалости, какой окружают человека, у которого недавно случилось непоправимое. Знали, что схоронил жену. Знали, что тянет на себе двух девчонок. Знали, что дело о «тени» его доконает, — и всё равно никто не сунулся бы это дело у него отнять, кроме Ткача, потому что дело было его по праву первого и по праву горя. Опера — народ суеверный, что бы ни писали в методичках по научному атеизму: они чуяли, что в этом деле всё повязано с Ерёминым лично, что не случайно конверты приходят на «Мишу», и держались в стороне, как держатся в стороне от человека, в которого метит молния.

А молодой сержант Витька Лоскутов, тот самый, которого вырвало у зернохранилища, после первого выезда написал рапорт о переводе в паспортный стол. Ему было девятнадцать. Он не стыдился. Начальник рапорт порвал при нём, положил руку на плечо и сказал: «Поездишь ещё, привыкнешь». Витька не привык. Витька через месяц уволится совсем, уедет к матери в район, будет там участковым, женится, и всю жизнь, до седых волос, не сможет смотреть на подвешенное бельё на верёвках между двумя столбами. Так этот город метил своих — не всегда ножом. Чаще — вот так, тихо, памятью, на всю оставшуюся жизнь.

Глава 4

Городской морг встречал гостей задолго до дверей — тяжёлый дух формалина, хлорки и чего-то приторно-сладкого просачивался сквозь щели рассохшихся рам и стоял над крыльцом, как туман над ночным прудом. Михаил спустился по стёртым ступеням в подвальный этаж, где под потолком гудели и подмигивали люминесцентные лампы, отчего кафельные стены то белели, то наливались болезненной синевой, будто и сами были пациентом, которому уже не помочь.

Он приехал сюда прямо от зернохранилища, не заезжая ни домой, ни в отдел. Домой заезжать было нельзя — там девочки, и он не мог войти к ним таким, с этой картиной в глазах, ещё горячей. Пусть выветрится хоть немного. Он спустился в морг отчасти по делу, отчасти потому, что в морге ему всегда странным образом становилось легче: здесь всё было честно. Здесь смерть не притворялась, не пряталась, не наряжалась в венки и оркестры, как на кладбище утром. Здесь она просто лежала на цинке, и с ней можно было работать. Наташу он не смог. Наташу увезли в другой морг, в областной, и он так и не заставил себя войти в тот зал. А сюда входил спокойно. Смерть чужого — это работа. Смерть своего — это конец света. Два разных вещества, ничего общего.

Аркадий Львович, патологоанатом с четвертьвековым стажем, стоял у цинкового стола и вытирал руки вафельным полотенцем. На столе, укрытое до подбородка простынёй, лежало то, что утром сняли с тросов у зернохранилища. Аркадий Львович был из тех редких людей, кого профессия не ожесточила, а, наоборот, сделала мягче: он разговаривал с мёртвыми, извинялся перед ними, накрывал их бережно, как накрывают одеялом уснувшего ребёнка. Михаил знал его двадцать лет и за двадцать лет ни разу не видел, чтобы Аркадий Львович закурил в зале или пошутил над телом. Другие шутили — так спасались. Аркадий не спасался. Аркадий просто нёс.

— Ну, что скажешь? — Михаил остановился в шаге от стола, стараясь дышать ртом.

— А скажу я тебе, Миша, вещи невесёлые, — Аркадий Львович говорил размеренно, как диктуют школьникам диктант. — Личность установили быстро, пальчики в картотеке: Кожин Григорий Саввич, кличка Козырь. Держал девочек у вокзала, дважды сидел. Смерть наступила часов за шесть до того, как его... вывесили. Резаные раны — семь, все прижизненные, нанесены изогнутым клинком с зазубринами. Серп не серп, крюк не крюк... Такого инструмента я, признаться, за двадцать пять лет не встречал. — Он помолчал, аккуратно поправил край простыни. — И вот что скажу тебе не по протоколу, Миша, а по-человечески. Раны нанесены не в ярости. Я перевидал ножевых — там всегда видно ярость: удары беспорядочные, глубина разная, руку заносит. А тут — семь раз, и все семь как под линейку. Одинаковая глубина, одинаковый угол, паузы между ними. Понимаешь? Он отдыхал между ударами. Он не спешил. Он резал его, как режут по дереву. И вот ещё что.

Он взял с лотка пинцет и поднёс к свету маленький тёмный кружок.

— Во рту лежала. Под языком, как пятак покойнику.

Михаил наклонился. Это была монета — потемневшая до цвета запёкшейся крови, с профилем женщины в короне и полустёртой надписью не по-нашему. Внизу, у самого канта, различался год: 1888.

— Английская, — сказал Аркадий Львович. — Виктория. Ей, голубушке, сто лет в обед. Где он её взял и зачем оставил — это уже, Миша, по твоей части. Моё дело — швы да весы. Но я тебе так скажу: кто кладёт покойнику пятак под язык, тот не сумасшедший. Сумасшедшие так не делают. Так делают те, кто во что-то верит. А верующий человек, Миша, страшнее сумасшедшего. Сумасшедшего можно понять хоть задним числом. Верующего — никогда.

Капитан молча смотрел на монету. Где-то в затылке, в том самом месте, куда обычно приходит боль после бессонной ночи, шевельнулось смутное, липкое чувство: всё это — тросы, семь ран, монета под языком — не припадок безумца, а почерк. Аккуратный, выверенный, как у отличника. Безумцы не датируют свои работы.

Он поблагодарил Аркадия, поднялся по стёртым ступеням наверх, в дежурку, где было можно наконец вздохнуть без формалина, — и вот там, в дежурке, его и настигло сразу два известия, каждое из которых по отдельности сошло бы за плохой день, а вместе они означали, что дни, какими он их знал, кончились.

Наверху, в дежурке, хрипела радиоточка — Магомаев пел «Море», и бархатный, тёплый, до неприличия мирный голос плыл над столами со сводками, над жестяной пепельницей, над остывающим на плитке кофе. От этой песни сделалось не легче, а хуже: слишком уж не вязалась она со всем тем, что осталось внизу, на цинке.

— Товарищ капитан! — дежурный привстал, прижимая трубку плечом. — Два дела. Первое: Заводская, 11, час назад газ рванул. Квартира на третьем этаже выгорела вчистую, соседей эвакуировали, пожарные говорят — есть погибшая. Хозяйка, вроде. И второе... — он замялся и покосился на стол, где поверх сводок лежал серый конверт. — Вам письмо. Только странное оно какое-то. Ни марки, ни штемпеля. И в ящик его никто не опускал — почтальонша божится. Просто лежало сверху, будто само выросло.

На конверте не было обратного адреса. Только два слова, выведенные аккуратным, с наклоном влево, почти чертёжным почерком: «Капитану Ерёмину».

Михаил вскрыл конверт дежурными ножницами — руки, к его собственному удивлению, не дрожали, хотя пальцы стали чужими и деревянными, как после долгого мороза. Внутри лежала газетная вырезка — пожелтевшая до цвета старой кости, ломкая на сгибах, со столбиками мелких букв на чужом языке. Из всего набора он разобрал лишь набранное жирным слово в заголовке: **WHITECHAPEL**. И год у кромки листа — тот же, что на монете. Тысяча восемьсот восемьдесят восьмой.

А поперёк вырезки, наискось, красными чернилами — свежими, ещё пахнущими канцелярией — было выведено по-русски, тем же чертёжным почерком:

«ЗДРАВСТВУЙ, МИША. Я ВЕРНУЛСЯ».

Он держал вырезку в руке, и дежурный что-то говорил ему, и Магомаев пел про синюю вечность, и остывал кофе на плитке, а Михаил стоял и думал только одно, простое и холодное: откуда он знает, что я Миша. Не капитан Ерёмин, как на конверте, — а Миша. Так его звали трое: покойная жена, старый Аркадий внизу да он сам, про себя. Больше — никто.

Первая ночь

Вечером первого дня отдел собрался на совещание — не по приказу, а само собой, как собираются у постели тяжелобольного: молча, стягиваясь к одному кабинету, где горел свет. Пришли опера, пришёл Паша с планшетом, пришёл, само собой, Ткач — сел у стены, влажный, внимательный, готовый в любую секунду либо примазаться к успеху, либо отойти от провала. На стене висела карта города с одной пока булавкой — у зернохранилища. К концу месяца булавок будет пять.

Михаил вёл совещание сухо, по-военному, потому что чувствовал: стоит дать слабину в голосе — и люди учуют не следствие, а панику, а паника в отделе заразнее гриппа. Он изложил факты. Тело — Козырь, известный сутенёр, дважды судимый, отпущенный. Способ — изощрённый, публичный, рассчитанный на эффект. Орудие — изогнутый клинок с зазубринами, аналогов нет. Деталь для служебного пользования, за пределы кабинета не выносить: монета под языком, английская, 1888.

— Что имеем по версиям? — спросил он.

Заговорили вразнобой. Молодой опер предложил передел: Козыря убрали конкуренты, а зверства — чтобы запугать остальных. Михаил кивнул — версию записали, хотя он уже знал ей цену: конкуренты режут быстро и грязно, а не вешают на тросах с монетой во рту. Другой предположил ритуал, секту — в городе всякое; записали и это. Ткач, выждав, вставил своё, гладкое: «А может, свои же? Может, кто из наших не выдержал, что таких, как Козырь, суд отпускает, и решил по-своему?» — и посмотрел на Михаила. Взгляд был невинный, но Михаил его запомнил: Ткач уже тогда, в первый вечер, нащупывал направление, в котором потом будет удобно копать под него. Записали и «своих». Михаил сам настоял, чтобы записали, — прятать версию значит подтверждать её.

Разошлись за полночь. Михаил остался один в прокуренном кабинете, с картой, где горела одна булавка, и с чувством, для которого не было места в протоколе: что все сегодняшние версии — мимо. Что настоящий ответ не в переделе, не в секте и даже не в «своих», а где-то сбоку, в слепой зоне, куда сыщик по выучке не смотрит, потому что там, по выучке, ничего не может быть. Он подошёл к окну. Город лежал внизу тёмный, редкими огнями, спящий, ни о чём не знающий. Где-то в нём горела ещё одна лампа — Михаил был почему-то уверен, что горит, — и под этой лампой сидел человек и тоже подводил итоги первого дня. Только у того итоги сходились. У того всё всегда сходилось.

Он потушил свет и поехал домой — к живым, пока ещё было к кому. По дороге, на пустой кольцевой, включил приёмник, чтобы не думать. Приёмник, как назло, поймал Магомаева. Михаил дослушал «Море» до конца, не выключая, — назло себе, как курил бы натощак, если б не уговор, — и всю дорогу до дома его не оставляло дурацкое, необъяснимое чувство, что песню эту ставят для него. Кто-то там, наверху эфира, знает, что он едет один по ночной дороге, и ставит ему в спину эту синюю мирную вечность. Ерунда, конечно. Радио есть радио. Но чувство было, и Михаил его запомнил — во вторую колонку, ту, что уже тогда становилась длиннее первой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.